

Лев Шестов как философ

Лев Исаакович Шестов (Шварцман, род. в Киевѣ 31 января 1866 г., скончался в Парижѣ 20 ноября 1938 г.) занимал видное мѣсто в русской философской литературѣ. Уход его в иной мір есть незамѣнимая утрата. Своеобразное остроуміе его, ѣдкая критика философских истин, задающаяся цѣлью «преодоленія самоочевидностей», и пылкая проповѣдь «возможности невозможнаго» неповторимы. Согласно распространенному мнѣнію, Шестов — скептик. Насколько это вѣрно, увидим послѣ изложенія его взглядов.

«Мы живем, окруженные безконечным множеством тайн», — говорит Шестов. Но как ни загадочны окружающія бытіе тайны, — самое загадочное и тревожное, что тайна вообще существует, что мы как бы окончательно и навсегда отрѣзаны от истоков и начал жизни. Это значит, что «либо в самом мірозданіи не все благополучно, либо наши подходы к истинѣ и предъявляемыя к ней требованія поражены в самом корнѣ каким-то пороком» (Парм., 7).

Слѣдуя Декарту, мы требуем, чтобы истина была «ясною и отчетливою». Наука осуществляет этот идеал, и ея огромнаго

Главные труды Шестова: Шекспир и его критик Брандес (СПБ., 1898; собр. соч. изд. «Шиповник», т. I); Добро в ученіи Толстого и Нитше. Философія и проповѣдь (СПБ. 1900; Берлин 1923); Достоевскій и Нитше. Философія трагедіи (СПБ. 1903; собр. соч., т. III); Апоѳеоз безпочвенности. Опыт адогматическаго мышленія (СПБ. 1905); Начала и концы (СПБ. 1908; собр. соч. т. У); Великіе кануны (СПБ. 1912; собр. соч. т. VI); *Potestas clavium* (Власть ключей, Берлин 1923); На вѣсах Іова. Странствованія по душам (изд. «Совр. Зап.», Париж 1929); Скованный Парменид (УМСА, Париж); *Kierkegaard et sa philosophie existentielle*, 1936; *Athènes et Jérusalem, un essai de philosophie religieuse* (Vrin, Paris 1938; по-франц. и по-нѣм).

В цитатах я буду обозначать сочиненіе начальными буквами главнаго слова; в перечнѣ трудов указаны вторыя изданія для тѣх книг, которыя я буду цитировать по второму изданію.

значенія для технического прогресса или, напр., для цѣлей войны Шестов не оспаривает, но послѣдніе, самые существенные вопросы нашего бытія не разрѣшима ни наукою, ни умозрительной философій.

Наука преодолевает многообразіе живого бытія, отыскивая повсюду в мірѣ одинаковое, повторяющееся. Она стремится устанавливать принудительныя истины, выразить их во всеобщих и необходимых сужденіях и доказывать их с такою же убѣдительною, как математическія теоремы. Все совершающееся в мірѣ она понимает, как подчиненное неотмѣнимым законам и принципам, как зависящее от закона причинности, обезпечивающаго неизмѣнное единообразіе природы. Классическое выраженіе такого міропониманія осуществлено эллинскою философійей, которая, начиная с Фалеса, искала единаго первоначала и принудительно доказуемых истин; это — дух Аѳин. Ему противостоит дух Иерусалима, выраженный в Библии и ея откровеніи, ставящем во главу міропониманія живого личнаго Бога, всемогущаго, творящаго чудеса, Бога, для котораго «нѣтъ ничего невозможнаго».

Со времени Филона Иудейскаго, говорит Шестов, не прекращаются попытки синтеза науки и рациональной философій с библейским міропониманіем, однако, всѣ онѣ не удаются. И не удивительно: в основѣ научно - философскаго міропониманія лежит ложь, и «отцом этой лжи», говорит Шестов, «был не человек, а принявшій образ змѣя дьявол» (Іов, 19). Истолковывая легенду о грѣхопадѣніи, Шестов утверждает, что «величайшим грѣхом наших праотцов», вкусивших от древа познанія добра и зла, было не ослушаніе Бога, а «довѣріе к разуму». Человек «повѣрил змѣю, что познаніе прибавит ему сил, и стал знающим, но ограниченным и смертным существом». «Сущность знанія в ограниченности: таков смысл библейскаго сказанія». Также «стыдное, дурное, страшное — пришло от познанія и вмѣстѣ с познаніем, с его «критеріями», присвоившими себѣ право суда и осужденія. Непосредственное видѣніе не может принести с собою ничего дурного, ложнаго. Познаніе, создав ложь и зло, потом пытается научить человека, как ему своими силами, своими дѣлами спастись от лжи и зла». «Нужно «спасаться» иным способом, «вѣрой» — как учит ап. Павел, одной вѣрой, т. е. напряженіем душевным совсѣм особаго рода, именуемым на нашем языкѣ «дерз-

новеніем» (224 сс.). Невозможность примирить этот смѣлый и творческій библейскій дух с духом научно - философскаго мышленія и есть тема всѣх трудов Шестова, начиная с «Апофеоза безпозвенности» и кончая «Аѳинами и Іерусалимом». Чтобы вжиться в «дерзновеніе», увлекающее Шестова, познакоимся обстоятельнѣе с тѣм, как он изображает дух Аѳин и Іерусалима.

«Философія, надѣющаяся при посредствѣ общихъ понятій найти истину, живет иллюзіями», говорит Шестов: вмѣсто того, чтобы придти к «корнямъ жизни», она ввергаетъ человѣка в долину смерти, потому что «общее и необходимое есть небытіе *par excellence*» (Вл. 279). Боясь свободы (Парм. 21) подобно Великому Инквизитору, человѣкъ ищетъ «безличной и безпристрастной истины»; он хочет не творить ее, а брать ее «готовой, и не у такого же существа, как он сам, т. е. у существа живого, значит, прежде всего, непостояннаго, измѣнчиваго, капризнаго, — а из рукъ чего-то, что перемѣн не знает и не хочет, ибо оно вообще ничего не хочет и ему нѣтъ никакого дѣла ни до себя, ни до кого друго-го». (Іов, 18 с.). «Первымъ условіемъ и предположеніемъ» для такого «научнаго мышленія является г и б е л ь о д у ш е в л е н и а г о», «ибо преступность индивидуальнаго или одушевленнаго — в его самовластіи» (Вл. 251 с.). Общее для умозрительной философіи, напр., Гегеля, выше индивидуальнаго. Вѣра в чудеса, ссылка на всемогущество Божіе для Канта, Гегеля и другихъ философовъ есть не болѣе, чѣмъ *Deus ex machina* (Парм. 61). Такой ученый, как Тэн, «ни об одномъ жизненномъ явленіи не можетъ говорить, если предварительно не умертвитъ его». Даже внутреннему міру наука «навязала» «безличное единство внѣшняго міра» (Шекспир, 21, 26). «По загадочному капризу судьбы, первый дошедшій до насъ отрывокъ изъ сочиненій греческихъ философовъ», принадлежащій Анаксимандру, содержитъ в себѣ осужденіе индивидуальнаго бытія. «Древній мудрецъ полагаетъ, что «вещи», появившись на свѣт, вырвавшись изъ первоначальнаго «общаго» или «божественнаго» бытія к своему теперешнему бытію, совершили в высокой степени нечестивый поступокъ, за который онѣ по всей справедливости и казнятся высшей мѣрой наказанія: гибелью и разрушеніемъ» (Вл. 102).

Самъ Бог, согласно ученію философовъ, подчиненъ законамъ и принципамъ, напр., закону противорѣчія. Сенека такъ формулировалъ эту мысль: «Самъ основатель и зиждитель міра — всегда по-

винуется, и лишь раз повелѣл (Парм. 17 с.). «Страшно власть в руки Бога Живого», думают люди, «а подчиниться безличной необходимости, которая неизвѣстно как проникла в бытіе, вовсе не страшно, это успокаивает и даже радует (Ath., XVI). Согласно Шестову, наоборот, подчиненіе безличной необходимости есть источник смерти. «Бѣда бы была, и ужасная, не поддающаяся никакому описанію бѣда, если бы Гегель и всѣ, кто от Гегеля, угадали бы и говорили бы правду, если бы исторія имѣла «смысл» и их Абсолютное было бы предѣлом человѣческих достижений» (Вл. 59).

Всего интереснѣе то, что научно - философскій дух, столь кичащійся доказанностью своих истин, не способен доказать свои основныя положенія. Полагая в основу знанія закон причинности, как «принцип закономерности явленій» и вообще «идею самодовлѣющаго порядка», наука дѣлает «практически в высшей степени полезныя, но совершенно необоснованныя и лживыя допущенія» (Гов, 187). Чтобы видѣрить их в умы, она прибѣгает к методу запугиванія, увѣряя, что без этих допущеній знаніе становится невозможным (Парм. 31). Но видѣ это — запрещаемый логикой *argumentum ad hominem* (Кан., 28). Единообразіе природы, о котором говорит наука, существует лишь постольку, поскольку «она принимает в свое видѣніе только тѣ явленія, которыя постоянно чередуются с извѣстной правильностью», и особенно тѣ, которыя доступны эксперименту. Между тѣм, в важнѣйших моментах жизни «единичныя явленія говорят нам гораздо больше, чѣм постоянно повторяющіяся» (Ап. 206 с.). «И животныя экспериментируют, только не сочиняют трактатов по индуктивной логикѣ и не гордятся своим мышленіем. Корова, однажды обжегши морду в поилѣ, второй раз подходит осторожно к корыту» (210). — Итак, Шестов не отвергает полезности науки, он только предлагает научному философу «судить не выше сапога», как в извѣстном рассказѣ о художникѣ и сапожникѣ.

«Особенно нѣмецкіе философы, говорит Шестов, позаботились о том, чтобы все привести в единообразную систему. У нѣмцев вездѣ — в школѣ, в арміи, в морали, в полиціи, в философій один высшій принцип: порядок прежде всего» (11). Типичный германскій философ Кант «любил большія, хорошо утоптанныя дороги, на которых легко и свободно движется теоретиче-

ская мысль, гдѣ нѣтъ ни дерева, ни травки даже, гдѣ царит прямая линія. Лучше всего он чувствует себя на широком, выравненном плацу. Здѣсь, под удар барабана, можно смѣло пройти торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, не озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такту и давать как можно больше «ноги» (16 с.). За то, по крайней мѣрѣ, Германія — *festes Land*.

Что нужно Шестову? Какія цѣнности он хочет отстоять и какое строеніе міра, по его мнѣнію, обеспечивает их? — Безграничная свобода несомнѣнно занимает видное мѣсто в идеалѣ Шестова. Он требует свободы индивидуальнаго живого существа от законов природы. Его возмущает мысль, что матерія и энергія «оберегаются от гибели ничѣм не созданными, а потому вѣчными законами», а бытіе Сократа, единственнаго и неповторимаго, «ничѣм не охранено. Пришел — ушел. Был — нѣтъ». (Иов, 37). Если бы жизнь была подчинена такому безумному порядку, она была бы бессмысленна (Кан., 29 с.). В не меньшей степени возмущает Шестова закон тожества и противорѣчія. «А может не равняться А»; «допустите возможность сверхъестественнаго вмѣшательства — и логика растеряет столь привлекающіе умы несомнѣнность и общеобязательность своих выводов» (Ап. 114). «Библія, и Ветхій и Новый завѣтъ, менѣе всего отвѣчали гѣм требованіям, которыя разум предъявляет к истинѣ. В этих загадочных книгах закон противорѣчія — первое условіе истинности всякаго утвержденія — прямо игнорировался». «Если в жизни есть противорѣчія, философія должна жить ими (Вл. 75, 276).

Шестов зовет нас из иллюзорнаго міра необходимости, придуманнаго наукою, «в тот міръ, гдѣ не законы владѣют над смертными и над бессмертными, а гдѣ бессмертные и, с их божественнаго соизволенія, созданные ими смертные, сами творят и сами отмѣняют законы» (Парм. 53). В этом мірѣ господствует не разум, а творческая воля (Вл. 278), к нему принадлежит все то, «что носит отпечаток неожиданности, свободы, почина, что ищет и желает не пассивнаго бытія, а творческаго, ничѣм не связаннаго и не опредѣляемаго дѣланія» (Парм. 69). Этот міръ не далеко от нас; мы уже находимся в нем, но наука пріучила нас не замѣчать его: она выработала теорію эволюціи, как ряда «постепенных, незамѣтных измѣненій»; таким образом, она на-

дѣется устранить всякое творческое fiat. Между тѣм, в дѣйствительности—«основная черта жизни есть дерзновеніе». Перед глазами человѣка, который усмотрѣлъ бы это, «вмѣсто міра, всегда во всѣх частях себѣ равнаго, вмѣсто эволюціонирующаго процесса, явился бы мір мгновенных, чудесных и таинственных превращеній, из которых каждое значило бы больше, чѣм весь те-перешній процесс и вся естественная эволюція. Конечно, такой мір нельзя «понять». Но такой мір и не нужно понимать. В таком мірѣ пониманіе излишне» (Гов, 156 сс.). «Пигмалион захотѣлъ, и, потому что он захотѣлъ, невозможное стало возможным, статуя превратилась в живую женщину» (Парм. 81). Шестов часто ссылается на обѣтованіе Іисуса Христа: «не будет для вас ничего невозможнаго». Мыслима жизнь, говорит Шестов, в которой «нѣтъ законѣрности, а, стало быть, есть безконечное количество возможностей. Там чувство страха — позорнѣйшее чувство — исчезает». «Если есть Бог, если всѣ люди — дѣти Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалѣть» (Ап. 54 с.).

«Все, что угодно, может произойти из всего, чего угодно», — эти слова Юма нерѣдко повторяет Шестов. Отсюда понятно, что исканія алхимиков и догадки астрологов он считал заслуживающими вниманія. «Астрологія и алхимія отжили свое время и умерли естественной смертію, — но оставили послѣ себя потомство: химию, изобрѣтающую красящія вещества, и астрономію, накопляющую формулы. Так всегда бывает: у гениальных отцов рождаются дѣти идіоты. В особенности, когда матери бывают очень добродѣтельны, а на этот раз мы имѣем необыкновенно добродѣтельных матерей: общественную пользу и мораль» (Ап. 159).

Мір населен живыми, творчески дѣятельными существами, а потому измѣнчивость и разнообразіе их проявленій чрезвычайны. Вмѣстѣ с Джемсом Шестов недовѣрчиво относится к общим сужденіям, он сочувствует его плюрализму (Кан. 299-304) и множеством примѣрных предположеній раз'ясняет ненадежность общих положеній. Считая очередною задачею философіи обязанность, дѣйствительно, «усомниться во всем», Шестов, шутя, допускает мысль, что «предметы тяготеют к центру земли не в силу естественной необходимости, а добровольно. Боятся, скажем, одиночества и тѣснятся друг к другу, как овцы ночью

(Иов, 207). Отсюда слѣдовало бы, что закон тяготѣнія есть только правило обыкновеннаго поведенія атомов, а вовсе не желѣзный закон природы. Под эту шуткою у Шестова кроется мысль, высказываемая многими философами, напр., Фихте, Соловьевым, что в составѣ конечной цѣли развитія міра находится одухотвореніе всей природы.

Шестов допускает, что ярко выраженная личность, упорно и даже богоборчески отстаивающая свою самостоятельность, обладает индивидуальным личным бессмертіем, а тот, кто отрекается от себя, «сохнет с первоединым, растворится в сущности бытія вмѣстѣ с массою себѣ подобных индивидуумов». Уже тридцать лѣтъ тому назад он предвидѣлъ, что нѣмцы «все до послѣдняго, навѣрное, сольются в идею, Ding an sich, субстанцію или иное заманчивое единство» (Нач., 175 с.).

Все отрицанія и утвержденія Шестова имѣют цѣлью отстоять высшую цѣнность и высшую ступень бытія — индивидуальную личность и ея призваніе к свободной творческой дѣятельности (Ключ. 107). Его высшія чаянія соединены с вѣрою во всемогущество Божіе. Вслѣд за Паскалем он подчеркивает, что это Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов. «Он по ту сторону противорѣчія и основанія, как и по ту сторону добра и зла» (Кл. 110). Истина от Него зависит, а не Он от истины (Ath. XVI). Оспаривая Гуссерля и его идеал философіи, как строгой науки, Шестов утверждает, что глубинная истина, метафизическая, «как все живое, не только никогда не бывает себѣ равна, но и не всегда на себя похожа» (Ключ. 166). У Бога все живет и измѣняется: Он способен даже бывшее сдѣлать небывшим, как это утверждал уже философ XI-го вѣка Петр Даміани. Так, напр., Шестов не может примириться с тѣм, что Сократ был отравлен в 399 г. до Р. Хр. цикутою, как отравляют бѣшеных собак. По просьбѣ нашей Бог властен отмѣнить эту истину (Парм. 28 с.). «Все, чего ни будете просить в молитвѣ, вѣрьте, что получите», — сказал Христос людям, живущим «вѣрою, представляющею собою такое измѣреніе мысли, в котором истина безбоязненно и радостно отдается в полное распоряженіе Творца». А Он в свою очередь, «безбоязненно и царственно возвращает вѣрующему его утраченную силу» (Ath., XXXII).

Шестов не соглашается жить «без убѣжденія, что правда и духовное совершенство в послѣднем счетѣ выходят побѣдителя-

ми в міръ» (Кан., 30). Совершенен был Иисус Христос и, когда Он призывал «Придите ко мнѣ, всѣ труждающіеся и обремененные, и Я успокою вас», Он говорил, как в л а с т ь имѣющій (Ап. 203).

Дѣйствительно, «с в о б о д н о е изслѣдованіе» начинается тогда, когда люди убѣждаются, «что в Священном Писаніи есть Истина» (Іов, 24). «Истина там ,гдѣ наука видит «ничто» (188). Чтобы усмотрѣть ее, нужен не тѣлесный глаз, а духовный (Парм. 35 сс.). В одной мудрой древней книгѣ «рассказано, что ангел смерти, слетающій к человѣку, чтоб разлучить его душу с тѣлом, весь сплошь покрыт глазами». «Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убѣждается, что он пришел слишком рано; он незамѣтно оставляет человѣку еще два глаза из безчисленных собственных глаз. И тогда человѣкъ внезапно начинает видѣть сверх того, что видят всѣ и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсѣм новое, как видят не люди, а существа иных міров» (Іов, 29). Тогда человѣкъ становится способным усвоить «Новый Органон» Тертуллиана: «Не устыжает, — ибо постыдно; достовѣрно, — ибо нелѣпо; несомнѣнно, — ибо невозможно». Он понял, что «прославляемая разумом «постыдно, нелѣпо, невозможно» отнимают у нас «самое нужное и самое драгоценное» (17).

Глубины духовнаго міра нерѣдко открывает человѣку болѣзнь, как это было, напр., с Паскалем и Нитше (271). Даже опыт ненормальных людей может имѣть высокую цѣнность, как это высказал «осторожно и с опаскою» Достоевскій, а теперь открыто заявил Джемс (Кан., 103, 42 с.). «Скажут, — мы тогда не гарантированы от злостных обманов. Люди, никогда не бывшіе в раю, будут выдавать себя за Магометов; все это вѣрно. Но вѣдь будут и правду рассказывать. И, чтобы спасти такую правду, можно рѣшиться проплыть цѣлый океан лжи. Да, если угодно, вовсе не так уже невозможно в этой области отличить правду от лжи, хотя, разумѣется, не по тѣм признакам, которые выработала логика» (54 с.).

По обыкновенію, Шестов, боясь систематичности и усматривая в ней «вѣрный признак духовной ограниченности» (Шексп. 11), не разработал своей цѣнной мысли, что и в той области, в которую он нас ведет, можно отличить правду от лжи. Я, повидимому, смѣлае Шестова: не боюсь духовной ограничен-

ности и попытаюсь выцарапать из его книг хотя бы намек на школьные выраженія дорогой ему мысли. Глава, в которой она выражена, обозначена словами: «Опыт и доказательства» (Кан., 51). В ней он противопоставляет индивидуальный о п ы т дедуктивным доказательствам из общих посылок, а также индуктивным обобщеніям, опирающимся на экспериментально повторимые факты. Подобно Джемсу и русскому интуитивизму он является сторонником «радикальнаго эмпиризма». Так, напр., он не любит онтологическаго доказательства бытія Бога, если понять его, как силлогизм. «Есть такія истины», говорит он, «которыя можно увидѣть, но которыя нельзя показывать. И это не только истины о Богѣ или безсмертіи души. Есть еще много истин такого же порядка» (Кл., 81). Иногда такія истины только смутно чувствуются человѣком (см. соображенія Шестова о Спинозѣ и его пламенной любви к Богу — Іов, 255 сс.).

В философіи Киркегарда Шестов нашел много родственнаго себѣ. Киркегард называл свою философію экзистенціальною, потому что «мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить». Он боролся с умозрительною философіей и, подобно Паскалю, пришел к философіи, движимый отчаяніем; истины он «искал в том, что всѣ привыкли считать парадоксом и абсурдом». Он обратился за нею не к Гегелю, а к Іову, цѣня в его исторіи не тот момент, когда Іов покорно сказал «Бог дал, Бог и взял», а тот, когда он взывал к Богу, и у Бога невозможное стало возможным. Максимализм Іова одобряют и Киркегард, и Шестов («Русск. Зап.» 1938, III). Экзистенціальную философію Бердяева Шестов не вполне одобряет, главным образом, потому, что Бердяев ограничивает всемогущество Божіе, считая, вслѣд за Беме, свободу міровых существ не сотворенною Богом («Совр. Зап.» 1938, 67).

Не только гносеологія с ея идеалом все понимающаго и все доказывающаго разума, но и этика, проповѣдующая общеобязательную мораль, подвергается рѣзким нападеніям Шестова. Формализм автономной этики Канта, законничество традиціонной морали он рѣшительно осуждает и совѣтует искать того, что «выше добра», «искать Бога» (Ключ. 9). Как и Бердяев, он считает Бога стоящим выше добра и зла, и напоминает «загадочныя слова евангельской благовѣсти: солнце одинаково всходит над грѣшниками и праведниками» (Добро, 114). «Истина и добро

плоды с «запретнаго» дерева — для ограниченных существ, для изгнанников из рая. Знаю, что осуществить на землѣ этот идеал свободы от истины и добра невозможно — вѣрнѣ всего, и не нужно. Но предчувствовать послѣднюю свободу человѣку дано» (Иов, 209).

Особенно отрицательно относится Шестов к проповѣди добра и добродѣтели самих по себѣ. Он сочувственно относится к Толстому-Левину, который в «Аннѣ Карениной» «прямо заявляет, что сознательное служеніе добру — есть ненужная ложь» (Добро, 18). В послѣднем періодѣ своей жизни Толстой от этой мысли отступил и окончательно сосредоточил все свои силы на исполненіи правила — «нужно быть добродѣтельным» (30). В таком настроеніи Шестов усматривает не столько заботу о других, сколько заботу о себѣ, о спокойствіи своей души (41). Иными словами, он боится фарисейзма, к которому легко может привести забота о своей добродѣтельности, как это прекрасно выяснил Шелер в своей этикѣ.

Душевный переворот Нитше Шестов объясняет его разочарованіем в Богѣ, как законническом безличном добрѣ (97). Однако, и его новый идеал сверхчеловѣка, есть, по мнѣнію Шестова, «лишь голова стараго идола» — «быть великим» (118). Ошибку Нитше он находит в том, что Нитше видѣл одно дурное в земном добрѣ «и просмотрѣл в нем все хорошее» (121); сам Шестов, как и Бердяев, очевидно, считает земное добро полу-доброем.

В творествѣ Шестова видное мѣсто занимает литературная критика. И в ней он был философом, восходя при анализѣ произведеній художника к тайнѣ жизни, к проблемѣ добра, к существованію нравственности. Критика, по его мнѣнію, не должна быть «научною, — т. е. затыгиваться в систему логически связанных положеній». «Объясненный поэт все равно, что увядшій цвѣток: нѣтъ красок, нѣтъ аромата — мѣсто ему в сорной кучѣ» (Кан., 22). Любимѣйшій художник Шестова — Шекспир. В своей первой книгѣ «Шекспир и его критик Брандес» он обрушивается на научную критику, образцом которой он считает изслѣдованіе Тэна об англійской литературѣ и книгу Брандеса о Шекспирѣ. Встрѣтившись с «гигантом» Шекспиrom, говорит Шестов, Тэну, как представителю «научности», нужно было «втиснуть в цѣпь явле-

ній» его «рыкающих львов, Болингброков и Норфольков, его рыдающих Лиров, безумствующих Гамлетов, восторженных Ромео, могучих Ричардов, трогательных в своем кротком величии Дездемон и Корделій, безстрашно идущих к своему идеалу Брутов». «Всю эту глубокую, обширную жизнь нужно было пересомтрѣть и отмѣтить ее лишь как добавочное к борьбѣ сил природы цвѣтеніе. И Тэн не отступил перед этой задачей» (27). Такой же операціи подвергнул Шекспира и Брандес, а Шестову, утверждающему приоритет свободнаго творчески дѣятельнаго духа, нужно проникнуть в глубину личности героев Шекспира, испытать вмѣстѣ с ними их столкновенія с міром, вжиться в их страсти и прослѣдить их значеніе в жизни духа. По пути он показывает, как ненаучна критика Брандеса, напр., поскольку он, углубляясь в шекспировскій вопрос, не замѣчает крайней несогласованности между характером актера Шекспира и совокупностью художественных образов в твореніях, приписываемых ему.

Вѣрный своей философіи, Шестов понимает Гамлета, как человѣка, который, наслаждаясь в Витенбергѣ наукою и мечтательной философіей, утратил способность дѣйствовать и не смѣет желать себѣ «настоящаго познанаія, готоваго измѣрить без страха бездну человѣческой жизни». Поэтому Гамлету его трагедія была необходима: благодаря ей, в нем «родился новый человѣкъ» (95). «Шекспир именно потому и велик, что умѣл видѣть порядок и смысл там, гдѣ другіе видѣли только хаос и пелѣность». Двѣ его трагедіи «Гамлет» и «Юлій Цезарь» Шестов рассматривает, как «вопрос и отвѣтъ». Гамлет спрашивает — Брут отвѣчает (95). Шекспир не по невѣжеству, а под руководством Плутарха изображает Цезаря, как честолюбца, а Брута, как искателя «вѣчных идеалов» (148), который не слѣдует «с подобострастіем за диктатором». Стоя перед выбором — «свобода или рабство Рима», он «вырвал из своего сердца и любовь к Цезарю, и благодарность, и опасенія за исход дѣла, и любовь к Порціи, и глубокую ненависть к пролитію крови, и отвращеніе к тайному убійству» (108).

Исслѣдуя «Коріолана», Брандес пытается установить «антидемократическое настроеніе Шекспира». Шестов нашел иное содержаніе в этой драмѣ: в ней изображена ненависть Коріолана к толпѣ, а не антидемократическое отношеніе к народу. Коріолан столкнулся не только с плебеями, но и с патриціями: для

него невыносима мысль, что обѣ стороны руководятся в борьбѣ не требованіями справедливости, а только соотношеніемъ силы.

Величайшимъ изъ всѣхъ когда-либо написанныхъ художественныхъ произведеній Шестовъ считаетъ «Короля Лира». Старикъ Лир, в которомъ «каждый вершокъ король», пострадавъ отъ человѣческой низости, дѣлаетъ открытіе, что «всѣ люди — Лиръ»; «подъ видимымъ всѣмъ горемъ короля происходитъ невидимый ростъ его души». Вслѣдъ за Шекспиромъ и мы начинаемъ видѣть в жизни «школу, гдѣ мы растемъ и совершенствуемся, а не тюрьму, гдѣ насъ подвергаютъ пыткамъ». «Поэзія Шекспира связана съ его любовью ко всему простому, истинному, справедливому, великому и прекрасному, болѣе того, его поэзія и есть это истинное, великое и прекрасное» (160).

С проблемою личности и творчества Достоевскаго Шестовъ боролся всю жизнь и только подъ конецъ нѣсколько исправилъ ошибки своей книги «Достоевскій и Нитше». Первый періодъ творчества Достоевскаго онъ характеризуетъ тою идеею, «что самый забытый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ твой». «Новизной, какъ видите, она не блещетъ». «Записками изъ подполья» начинается второй періодъ его жизни, когда онъ почувствовалъ самого себя «навѣки, навсегда сравненнымъ съ послѣднимъ человѣкомъ» и найденные имъ въ себѣ «страшные душевные элементы» развились «въ настоящую философію каторги, безнадежности, въ философію подпольнаго человѣка». Хрустальные дворцы, «прекрасное и высокое», всѣ мечты своей юности Достоевскій осмѣиваетъ в этомъ произведеніи, и, если когда-нибудь осуществится идеалъ человѣческаго счастья на землѣ, то Достоевскій заранѣе предастъ его проклятію. Сущность души подпольнаго человѣка и свою собственную онъ выразилъ въ формулѣ: пусть проваливается весь свѣтъ, «а чтобъ мнѣ чай всегда пить». В своихъ дальнѣйшихъ произведеніяхъ Достоевскій «постоянно имѣлъ въ запасѣ показные идеалы, которые онъ тѣмъ истеричнѣе выкрикивалъ, чѣмъ глубже они расходились съ сущностью его завѣтныхъ желаній и, если хотите, съ желаніями всего его существа. Его позднѣйшія произведенія всѣ до одного почти проникнуты этою двойственностью» (56, 235). В «Преступленіи и наказаніи» Достоевскій «всю силу своего огромнаго таланта направилъ на поддержаніе престижа «не убій», по мнѣнію Шестова, «главнымъ образомъ, потому, что онъ все равно не могъ быть Наполеономъ. Оттого-то онъ и душитъ своего Рас-

кольникова» (Добро, 48). Зосима для Шестова блѣден, Алеша занимается «жалкою болтовней».

В началѣ XX в. Шестов не усмотрѣлъ, что «Записки из подполья» выражают не крушеніе идеализма Достоевскаго, а отказ от поверхностных идеалов, выразителем которых был, напр., Чернышевскій. В эту пору Достоевскій увидал такую глубину зла в себѣ и в человѣкѣ вообще, что понялъ необходимость помощи Божіей для метафизическаго преображенія души и міра, чтобы достигнуть завершенія борьбы совѣсти человѣческой со злом. В нем совершался переворот, который привел его к христіанскому идеалу Царства Божія и такой свободы в нем, которая роднит его религиозный максимализм с религиозною требовательностью Шестова. Повидимому, под конец жизни Шестов стал замѣчать это. В книгѣ «На вѣсах Іова» он уже говорит, что не только у подпольнаго анти-героя, но и в книгах и исповѣдях величайших святых можно найти «такія же признанія». «Так глубоко пал человѣкъ», что «потребовалось, чтоб Бог отдал своего единственнаго Сына, потребовалась такая жертва из жертв, — иначе нельзя было спасти грѣшника. Так вѣрили, так видѣли, так буквально говорили святые. То же увидѣлъ и Достоевскій, когда отлетѣлъ от него ангел смерти, оставив ему непримѣтно новые глаза» (39 сс.). «Второе зрѣніе» открыло Достоевскому «иные міры» и «он позналъ послѣднюю свободу», увидѣлъ, что Бог требует невозможнаго» (93) с точки зрѣнія ограниченнаго разума, и «дошел до Осанны» (Ключ. 135).

В художественном творествѣ Льва Толстаго Шестов отмѣчает проявленія склонности его къ законнической морали. «Всѣ дѣйствующія лица «Анны Карениной» раздѣлены на двѣ категоріи. Одни слѣдуют правилам и вмѣстѣ с Левиным идут къ благу, къ спасенію; другія слѣдуют своим желаніям, нарушают правила и, по мѣрѣ смѣлости и рѣшимости своих дѣйствій, поддаются болѣе или менѣе жестокому наказанію. Анна — наиболѣе даровитая, ее ждет крайній позор». Впрочем, «в эпоху созданія этого романа художник дает добру только относительную власть над человѣческой жизнью. Болѣе того, служеніе добру, как исключительная и сознательная цѣль жизни, еще отрицается им» (Добро 15 с.). «Война и мир», говорит Шестов, есть «истинно философское произведеніе»; «в ней преобладает еще гомеровская или шекспировская «наивность», т. е. нежеланіе воздавать людям за

добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую жизнь нужно искать выше, вне нас. Только в отношении к Наполеону не выдержан общий тон». Пьер говорит Наташѣ: «Я не виноват, что жив и хочу жить; и вы тоже». «Так тогда разрешал гр. Толстой навязчивые вопросы совѣсти, эти вѣчные «виноват», которые загораживали путь его лучшим героям». «С какою любовью описывает гр. Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, гдѣ бы столь безнадежно средній человекъ был изображен в столь поэтических красках» (53 с.). Понятно, что роман его производит «бодрящее впечатлѣніе». Но был у Толстого послѣ душевнаго кризиса и другой опыт, открывающій ужас жизни, выталкивающій человека из «общаго міра». Таков неоконченный рассказ Толстого: «Записки сумасшедшаго», рассказ «Утро послѣ бала», исторія «Отца Сергія», которому не помогали ни молитва, ни добрыя дѣла», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната». В свѣтѣ этого опыта человекъ вездѣ видит «Мертвыя души» подобно Гоголю, который в этом своем произведеніи «не выступал обличителем общественных нравов, а гадал о своей судьбѣ и судьбах всего человечества» (Юв, 101). В итогѣ своих изслѣдованій Шестов находит у Толстого «органическое соединеніе двух, повидимому, совершенно несоединимых душ. С одной стороны, в нем живет пророкъ, готовый послѣдовать примѣру Авраама и даже Іезекиіля, готовый сродниться с безуміем, вызвать на смертный бой здравый смысл и пренебречь всѣми радостями жизни». «С другой стороны — он судорожно держится за разум и учит людей надѣяться, что религія есть как раз то, что помогает нам устроить свою жизнь» (Кан., 144).

Разсмотрѣвъ взгляды Шестова, отдадим себѣ отчет, можно ли считать его скептиком. Рауль Рихтер в своей книгѣ «Скептицизм в философіи» изслѣдует полный и частичный скептицизм. Дѣля всѣ предметы знанія на чувственные и нечувственные, он различает два вида частичнаго скептицизма: первый вид — трансцендентный скептицизм при имманентном догматизмѣ, напр., такова теорія знанія Канта; второй вид — имманентный скептицизм при трансцендентном догматизмѣ, встрѣчающійся у религиозных мыслителей, напр., у Паскаля. Можно было бы думать, что и Шестов принадлежит к этой второй группѣ: он ищет послѣдних истин в области сверхчувственнаго и даже сверхлогическаго, он презрительно относится к «научным» истинам и до-

казательствам. Посмотрим, однако, что он сам говорит о себѣ. Против тѣх, кто причисляет его к скептикам, он заявляет: «Я не выражаю солидарности с существующими философскими системами и смѣюсь над их самоувѣренной торжественностью побѣдителей. Но, господа, развѣ это значит быть скептиком?» (Нач. 119). И в самом дѣлѣ, он живет исканіем и открытіем «послѣдних» истин; но вмѣстѣ с тѣм он говорит, что и в наукѣ, напр., в физикѣ, химіи можно придти «к достовѣрному, прочному убѣжденію» (Кл. 166); презрительной критикѣ он подвергает только гносеологію и научно - философскія теоріи. Мы видим, как он обрушивается на гносеологов, обосновывающих возможность общих необходимых сужденій, отстаивающих закон причинности, как закон единообразія природы. Это вовсе не значит, будто он отрицает закон причинности, как утверженіе, что каждое явленіе обусловлено творческою дѣятельностью какого-либо существа. Конечно, он признает, что Пушкин — причина возникновенія поэмы «Евгеній Онѣгин». Но он думает, что не доказано, будто мір состоит из существ, которыя дѣйствуют вѣчно одним и тѣм же способом. Из этого, в свою очередь, слѣдует, что в природѣ существуют только п р а в и л а, согласно которым болѣе или менѣе часто возникают событія, но не законы, которые были бы абсолютно не отмѣнимы. Собственно, когда Шестов борется против принудительных всеобщих сужденій, он ищет свободы не от истины, а от законов природы. Ему нужно не разрушить науку, а заставить ее высказывать свои обобщенія в болѣе скромной, не аподиктической формѣ и таким образом очистить мѣсто для религіозных истин и ученія о власти духа.

Только в одном пунктѣ Шестов заходит слишком далеко, именно тогда, когда он отвергает даже закон тождества и противорѣчія, так что, оказывается, Бог мог бы сдѣлать бывшее не бывшим. Правда, есть великіе философы, напр., Гегель, считавшіе живую дѣйствительность воплощенным противорѣчіем. Однако, изслѣдованіе показывает, что такія утвержденія возникают всегда вслѣдствіе неправильнаго пониманія законов тождества и противорѣчія (это подробно разсмотрѣно в моей «Логикѣ»).

В области «послѣдних», особенно религіозных истин у Шестова много защищаемых им положительных утвержденій. В центрѣ его вниманія, как показано выше, находится живая, творчески дѣятельная индивидуальная личность. Он признает

свободу ея и возможность метафизическаго господства духа над природою. Особенно увлекает его идея всемогущества Божія. Число таких положительных утверждений его можно было бы значительно увеличить. Так, он говорит: «Чистых душ нѣтъ: всѣ в пятнах. На страшном судѣ все это само собой отпадает: вѣдь там человекъ судитъ себя сам. И судитъ с такой суровостью и безпощадностью, о которой на землѣ и не слыхивали». «И вот получается задача: можно-ли спасти душу, созданную из ничего и вновь — от ужаса пред своим безобразіем — осудившую себя на уничтоженіе и не желающую из этого «ничто» уходить? Как это Бог дѣлает, я не знаю. Но я иногда чувствую, что Он это дѣлает». (Вл. 94 с.). Шестов вѣрит в восстановленіе Богом всѣх (Добро, 51). Но в области этих послѣдних истин есть много такого, что доступно нам только путем «пріобщенія» к ним (Кан., 43 с.); их лучше открывают поэты, чѣм философы (56 с.), но в значительной мѣрѣ онѣ и вовсе не выразимы словами (Нач. 184 с.).

Даже и краткій обзор обнаруживаетъ своеобразіе и цѣнность идей Шестова; необходимо отмѣтить еще его литературный талант и превосходный русскій языкъ. Еврей по крови, Шестов принадлежалъ к числу тѣх русскихъ евреевъ, которые пріобщили высокую талантливость своего народа к жизни русской культуры и много содѣйствовали расцвѣту ея. Он былъ виднымъ членомъ русской интеллигенціи, вырабатывавшей высокія духовныя цѣнности. Вѣчная память ему!

Н. Лоссицкій